

О сталинских академиках и взаимоотношении философии и власти в СССР

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1412>

🎤 23 марта 2012

Собеседник

Ойзерман Теодор Ильич

Ведущий

Споров Дмитрий Борисович

Дата записи

Беседа записана 23 марта 2012 и опубликована 17 октября 2012.

Введение

Теодор Ильич Ойзерман рассказывает о жизни общества периода сталинской диктатуры, философском факультете МГУ, сталинских академиках от философии и взаимоотношениях философской науки с властью. Особенно важны для нас размышления о развитии философии в условиях тоталитарной идеологии, о жизни и творчестве ученого, о его внутренней свободе. Будучи специалистом по марксизму, в своих последних работах он пытается объективно взглянуть на развитие идеи материалистического идеализма в советской науке, уделяя основное внимание научной теории и стараясь уйти от традиционного догматизма.

Теодор Ильич Ойзерман: Сегодня имеются разные течения: политические, философские и так далее. Имеется какое-то соревнование идей, имеется постоянная дискуссия. Ничего похожего не было в нашей стране, в Советском Союзе. Это была диктатура духовная, настолько жесткая, что всякое отклонение, какая-то самостоятельная мысль, которая не укладывалась... не обязательно даже не укладывалась в рамки, но считалось, что не укладывалась...

Дмитрий Борисович Споров: Да, это тоже важно

Т.О.: ...уже как-то осуждалась или даже преследовалась, причем, преследовалась самыми разными формами, вплоть до ареста, уголовного наказания и так далее. Все же это было, понимаете? В моей студенческой группе арестовали четырех человек в 37-м году. Один из них точно был арестован за то, что высказывал какие-то мысли. Это я потом уже узнал, не от него, а от его брата, который посещал его в заключении. Другой был арестован просто за то, что кокетничал. Он изучал английский язык, подходил к прохожим и заговаривал с ними на английском языке, выдавая себя за иностранца. Вот чудак такой. Правда, его арестовали, но нашелся какой-то честный следователь, и его через полтора месяца выпустили. Кстати, я сам было пострадал на этом, потому что этот самый человек, Василий Бродов, был моим товарищем, и я как-то глупо болтнул: «Не понимаю, почему Ваську, так сказать...» Тут же меня из комсомола долой. Но, к счастью, Ваську этого самого освободили и меня в комсомоле восстановили. Понимаете, какая жизнь была?

Д.С.: Абсурдная, в общем. С точки зрения здравого смысла, в кавычках, конечно, абсурдная... Абсурдная?

Т.О.: Да. Причем, если вы знаете мою книгу, называется она «Оправдание ревизионизма». Там есть большой раздел о догматизме. Я описываю там ситуацию на философском факультете. Там ведь был один профессор, человек малограмотный, не доктор, не кандидат наук, а профессор, заведующий кафедрой. Он писал письма Сталину, и эти письма имели влияние. Сталину-то нравились эти письма...

Д.С.: Белецкий?

Т.О.: Да, Белецкий. Первое письмо он написал по поводу трехтомника «История философии», знаете, его студенты называли «серая лошадь»?

Д.С.: Да, да.

Т.О.: Сталин вызвал Александрова, это мне потом сам Александров рассказывал. Был такой начальник управления агитации и пропаганды, академик Александров, мой научный руководитель, кстати сказать. Он вызвал Александрова, показывает письмо Белецкого. Александров говорит: «Знаете, Белецкий же человек невежественный, он мало что понимает в истории философии». А Сталин говорит: «Я допускаю, что он действительно не шибко знает, но чутье у него есть». Он пытался доказать во время войны, что Гегель — это не один из источников марксизма, а источник фашизма.

Д.С.: Да, да.

Т.О.: Постановление ЦК вышло, по поводу письма Белецкого. Через два года Белецкий написал письмо по поводу учебника Александрова «История западноевропейской философии». Учебник был, конечно, плоховат, но дело не в этом, он обвинил учебник в том, что это антипартийное, антимарксистское и так далее. И опять дискуссию Сталин сказал провести. Дискуссию проводил секретарь ЦК Жданов. Представляете, какая картина была, в 47-м году?

о научном коммунизме

Д.С.: Ну, это ведь все равно говорит о том, что власти пристально наблюдали за философией и было важно, как развивается философская мысль? Так ведь?

Т.О.: Конечно.

Д.С.: В связи с этим, то, что было придумано как научный коммунизм, ваше мнение, зачем это было сделано вообще?

Т.О.: Формально слово «научный коммунизм» встречается и у Энгельса. В этом смысле они, Маркс и Энгельс, называли свое учение коммунизмом, именно научным коммунизмом. Иное дело, что никакой систематической теории научного коммунизма они не разработали.

Д.С.: Но предполагали ее разработать? Или нет?

Т.О.: Поэтому эту самую теорию пытались создать наши ученые. То есть, взяв какие-то высказывания основоположников марксизма, построить на них какую-то систему преподавания, лекций и так далее. Это, между прочим, не сразу получилось, где-то в 60-х годах появился научный коммунизм, до этого не было его.

Я плохо себе представляю содержание этих лекционных курсов, но знаю только, что была кафедра научного коммунизма на философском факультете. Ну, и, соответственно, лекционный курс был какой-то. Содержание я не представляю себе. Дело в том, что все, что у Маркса и Энгельса говорится о коммунизме, можно изложить на четырех-пяти страницах, понимаете? Ну, что там было: обобществление средств производства. Что еще к этому можно добавить? Что свобода каждого станет условием свободы всех. Это в «Коммунистическом манифесте» сказано. Да нет, там реального содержания очень мало, кроме общих посылок. Так что этот курс научного коммунизма, в общем, конечно, был пустопорожний. Понимаете, диалектический материализм тоже ведь был только эскизной теорией. У Маркса вообще слово «диалектика» встречается нечасто, а Энгельс действительно создал что-то похожее на диалектический материализм. Но что это было? Ну, Антидюринг», скажем. Весьма, так сказать, популярная работа.

Что касается законов диалектики, то это прямо взято у Гегеля и это, конечно, ошибка, потому что таких законов наука не знает, чтобы они определяли и природу, и общество, и мышление. Наука знает законы, ну, закон всемирного тяготения. Но он не определяет и природу, и общество, и мышление. Это какие-то сверхнаучные законы. У Гегеля это понятно, он был философ-идеалист. Но почему Энгельс не ухватил это? Почему он не понял, что диалектика существует, а всеобщих абсолютных законов нет.

Д.С.: Не материалистический подход, в общем-то.

Т.О.: Ну да, получилось, что вместо материалистической диалектики явные заимствования из метафизики Гегеля. Но я сказал бы, что мы-то не сразу до этого дошли, до понимания этого. Я впервые высказал эту мысль публично только в 82-м году, где-то в журнале «Вопросы философии». Правда, до этого я, конечно, ее высказывал, не публично, а так, в более узком кругу. В 82-м году я прямо написал, и меня даже вызывали в ЦК, но, в общем, ничего не сделали.

Д.С.: Уже время было другое.



Теодор Ильич Ойзерман

Т.О.: Да, время другое было. Потом я уже был академиком. В общем, так сказать, махнули рукой. Как бы есть такое мнение, и все. Тем более, что другие товарищи оставались на прежних позициях, даже настаивали, что есть всеобщие законы. Был, например, такой профессор Орлов из Перми, он тут же выступил с какой-то статьей против меня.

Д.С.: Понятно. А кого бы вы назвали как интересных марксистов, исследователей глубоких, но придерживающихся марксистской парадигмы, естественно, в советское время?

Т.О.: Во-первых, профессор Асмус, которого считали буржуазным ученым, в действительности, конечно, был марксистом.

Д.С.: Убежденным?

Т.О.: Может быть, он не сразу им стал, он человек был не молодой уже, но, скажем, его книга «Маркс и буржуазный историзм» — вполне марксистская книга. Да, собственно, и его книги по истории диалектики тоже вполне укладываются в понятие марксизма. А из этого старшего поколения, помимо Асмуса, я никого назвать не могу. Хотя я застал этих людей. Так что, те, кто у нас официально наверху были: Митин, Юдин, Александров — это не творческие люди были.

Д.С.: А если развернуть это, что не творческие люди? Сейчас зачастую так жестко пишут о них, что не то, что не творческие, а полуграмотные люди. Как бы вы охарактеризовали этих официальных придворных

философов, которые были наверху?

Т.О.: Что касается Георгия Федоровича Александрова, то это не был полуграмотный человек. Я его знал хорошо как своего научного руководителя, я бы даже сказал, что он талантливый был человек, он великолепно читал лекции. Но дело в том, что он в двадцать семь лет уже ушел работать в ЦК и таким образом, фактически, он с философией порвал, хотя формально он что-то еще делал. Что касается Митина (более старое поколение) — это человек не то, что малограмотный... он кончил какое-то высшее учебное заведение, кажется, была такая Академия народного хозяйства имени Крупской. Я его хорошо знал. Писать он не умел.

Д.С.: Он сам писал?

Т.О.: Нет, он обычно какой-то делал набросок, а может быть, кто-то ему делал набросок, потом обращался к кому-нибудь из нас, и мы ему помогали. Когда он был большим начальником, мы его помощники были, которые что-то делали. Но я его знал уже позже, когда он был редактором «Вопросов философии», то есть уже не большой начальник. В общем, ему помогали писать, он писать не мог.

Д.С.: А Георгий Федорович Александров сам писал?

Т.О.: Тот писал... не ахти как... Я помню, однажды он попросил меня отредактировать его рукопись книги «Сталин о языкознании». У Сталина была такая статья. Я взял эту рукопись, он договорился с издательством, что мне уплатят три тысячи рублей...

Д.С.: Это были очень большие деньги.

Т.О.: ...за редактирование. Действительно, работа была большая, но, в принципе, он сам ее написал. Я посидел около месяца и за эти три тысячи рублей выправил все. Но все-таки он писал, все-таки писал, да. А сказать это о Митине или Константинове абсолютно нельзя было. Юдин Павел Федорович, собственно, и не претендовал. Он был хороший мужик, добрый такой, очень человечный.

” Когда Сталин вызвал как-то Митина и Юдина и сказал: «Вы будете академиками...» Митин сказал: «Да». А Юдин сказал: «Вы знаете, я не чувствую, что могу быть». И Сталин сказал: «Тогда будете членом-корреспондентом».

Д.С.: Это байка или нет?

Т.О.: Нет, это Юдин сам рассказывал. Я знал их очень хорошо. Юдин даже у меня был оппонентом по кандидатской диссертации. Он вспоминал, что один раз в жизни был оппонентом.

Д.С.: Один раз в жизни и именно у вас?

Т.О.: Вообще один раз в жизни. А у меня почему? Я был сталинским стипендиатом. Дело в том, что Сталин считал, что существует сто наук, и каждой науке он выделил стипендию для молодых ученых, для аспирантов. Стипендия была тысяча рублей, а профессор получал девятьсот рублей. И вот эта стипендия досталась мне, потому что я, будучи аспирантом, еще до этого даже, писал довольно много популярных статей, да еще работал в консультации журнала «Коммунист», там опубликовал две статьи. Итого у меня было тринадцать статей опубликованы. Вот это и послужило основанием, чтобы мне дали сталинскую стипендию — тысячу рублей. Поэтому, когда я защищал кандидатскую, перед войной это было, как раз в мае месяце, то пригласили Юдина оппонентом, Иовчука (тоже фигура была большая) и Дынника.

Д.С.: Михаила Александровича.

Т.О.: Три оппонента было. Юдин представил, а работа моя очень большая, тысяча страниц, в общем-то, было. Два тома, по-моему. Юдин сказал: «Надо докторскую степень ему дать». А Дынник сказал: «Нет, пусть

он напечатает, а тогда уже обсудим». Правильно, конечно, сказал.

Д.С.: Вы уникальный свидетель в том смысле, что помните и довоенную философскую мысль. Скажите, насколько повлияли все эти истории с Белецким, с письмами, с обсуждениями? Они хорошо известны, о них много написано. Когда произошел этот сдвиг и слом, и был ли он вообще? Когда появилось пристальное внимание, более пристальное внимание к философии и стали формировать нечто новое?

Т.О.: Я бы сказал, что все-таки оттепель сказалась, после смерти Сталина, когда люди свободно вздохнули, когда перестали сажать и так далее. Тогда уже началось, тогда и появились молодые, способные ребята. Тот же Ильенков, мой аспирант, тот же Мамардашвили, тоже мой аспирант, оба на кафедре истории зарубежной философии. Гайдено, все это поколение, Мотрошилова — это все мои ученики. На других кафедрах, конечно. На русской Карякин был талантливый человек, Плимак. На кафедре диалектического материализма — Келле, Ковальзон. Кто-то из них был творческим, кто-то из них просто был великолепным лектором. Келле, Ковальзон больше лекторами были. Ильенков был творческий человек, у него новые мысли, новые идеи были. Тоже самое относится к Мамардашвили. А в общем-то, когда я говорю — творческий человек, это в лучшем случае, что человек какую-то мысль отдельную мог развить самостоятельно. Как Ильенков развил мысль об объективности идеального. Статья его в энциклопедии была об идеальном, это была заслуга несомненная. Так что, вообще-то, только когда начался какой-то критический пересмотр диалектического материализма, тогда, собственно, у нас началась живая мысль. А до этого какая-то нелепость была.

«Основной вопрос философии» — глупость же это! Глупость.
В действительности существует много основных вопросов, и чуть ли не у каждого философа свой собственный основной вопрос.

Поэтому можно говорить об основных вопросах философии, имея в виду десятки их.

Д.С.: Понятно. А все-таки, как бы неофициально-то мысль существовала? И в вашей среде, в вашем общении наверняка ведь был официальный уровень и неофициальный. В кругу друзей вопросы философии были другие, чем те, что обсуждались на заседании кафедры. Так ведь?

Т.О.: Нет, понимаете, я бы не сказал, что было какое-то существенное различие. Потому что в 60-е, 70-е годы никого не преследовали за высказывания. Скажем, тот же Ильенков считал, что предметом философии является мышление, и я его не трогал.

Д.С.: Все равно ведь это было в рамках марксизма?

Т.О.: Это не совсем совпадало с точкой зрения диалектического материализма о всеобщих законах развития.

Д.С.: Безусловно, конечно.

Д.О.: А он говорил: «Нет, философия — наука о мышлении». Правда, эту мысль высказывал и Теодор Павлов, где-то мимоходом в своей книге «Теория отражения». Не помню, ссылался ли Ильенков на Павлова. Потом эту идею «философия как наука о мышлении» подхватил Белецкий. Так как он был человек все-таки невежественный, то он такого нагромоздил. А деканом был Молодцов, он подослал стенографистку, и записали все, что Белецкий наговорил, и все отправили в ЦК, не показывая, конечно. В ЦК это досталось секретарю ЦК Поспелову. Тот пришел в негодование, собрали партийный актив МГУ, и там Поспелов Белецкого обозвал негодяем и антимарксистом. И его, естественно, уволили. Так что было такое.

После этого Щипанов, заведующий кафедрой русской философии, на ученом совете обвинил меня, что я потрафляю Ильенкову. Я старался как-то объяснить, но ученый совет принял решение, что его надо освободить. Я позвонил Александрову, он был тогда директор Института философии, и говорю: «Георгий

Федорович, есть тут у меня талантливый парень Ильенков, возьмите его». Он говорит: «Действительно талантливый?» Я говорю: «Бесспорно». Он взял его.

Власть и философский факультет

Д.С.: Скажите, а внимание ЦК, вы о нем уже несколько раз упомянули, и об этом тоже много писано, о внимании ЦК к философскому факультету, насколько оно было ровным? Или были какие-то всплески, амплитуды? Вообще, как оно осуществлялось?

Т.О.: Я бы сказал, что в общем не было никакого такого начальственного, что ли, отношения. То есть, мы с ними были как бы в хороших отношениях всегда. Один только эпизод: профессор Кедров, потом академик Кедров, выкинул такую идею, что для того, чтобы быть философом-марксистом, надо сначала получить какое-то другое образование, математическое, физическое, химическое и так далее. Он сам-то был кандидат химических наук. Поэтому он внес предложение: философские факультеты ликвидировать, создать основательную философскую аспирантуру, и на нее принимать математиков, физиков, химиков и так далее, и готовить философов. Причем, он написал в ЦК что-то. Тогда собрали нас в ЦК, в том числе я был приглашен, вице-президент Федосеев. Много было народу. И Кедров стал доказывать, его поддержал ректор МГУ Петровский Иван Георгиевич. Петровский был хороший человек, но он просто поддался влиянию. Кедрова, конечно, не поддержали, не говоря уже о том, что все мы, работники философского факультета, выступали против. И в ЦК заняли такую позицию, что философский факультет — это идеологический факультет, что ликвидировать философский факультет — это неправильная позиция. Вот такая была попытка ликвидировать философский факультет, дескать, надо готовить философов из специалистов. Хотя известно, конечно, хорошо, что многие люди, получившие физическое и математическое образование, потом переходили в философию и, надо сказать, не выделялись особенно, я не могу назвать никого. Кедров, может быть, один.

Д.С.: Поэтому он и предложил.

Т.О.: Да. Людей, которые получили естественнонаучное или историческое образование и потом переходили в философию, было много. Дело в том, что философский факультет все-таки это была школа какая-то. Пять лет люди варились в этом соку, и если они были мало-мальски способные, то из них выходили толковые, во всяком случае, знатоки дела. И преподаватели, и научные работники, плюс еще аспирантура три года.

Д.С.: А устройство кафедры, потом идея создания факультета научного коммунизма, значило ли это, что с философского факультета немножко снимается эта идеологическая направленность, что кузница идеологических кадров переносится на научных коммунистов?

Т.О.: Фактически это значило. Но дело в том, что по своему составу кафедра научного коммунизма была очень бледная, и влияние ее было совершенно незначительное.

Д.С.: Просто потому, что философы так относились к этой инициативе?

Т.О.: То, что философы мало интересовались этим делом, и, наверно, случайность... Иовчук тоже был не блестящий человек, он возглавлял эту кафедру, а потом ее возглавлял Ковалев, тоже не яркая личность.

Д.С.: Хотя последнее время у него столько книг вышло. Я не читал, правда.

Т.О.: Ковалев писучий был человек, но то, что он писал, было совсем неинтересно. Я его хорошо знал и помню его вещи.

Д.С.: Вы сказали, что из ЦК не было начальственных окриков и вообще вы поддерживали хорошие взаимоотношения.

Т.О.: Но когда история с Белецким разворачивалась, тут ЦК вмешивалось. Дело в том, что Белецкий

строчил письма к Сталину, и после смерти Сталина. Поэтому, так или иначе, какое-то вмешательство было, но в отделе науки достаточно хорошо понимали, что Белецкий — это человек такой, что ли, непорядочный, что от него можно ожидать всяких гадостей и так далее. Я помню людей, работавших в отделе науки, они к нам, то есть к противникам Белецкого относились абсолютно терпимо и доброжелательно.

Д.С.: Вот это важно и интересно.

Т.О.: Вполне, да. Может быть, это еще объясняется тем, что, к счастью, работники ЦК были, опять же, питомцы философского факультета.

О догматическом и научном подходе к марксизму

Д.С.: Понятно. Скажите, а в принципе, развитие левых идей, и марксистской философии в частности, возможно было бы, если бы, предположим, не так жестко все было в одном предметном поле. Ведь только в марксистской философии в советское время были возможности заниматься другим и развивать какие-то другие идеи.

Т.О.: Дело в том, что развитие на почве марксизма возможно, только полностью учитывая все учения, которые возникли после марксизма. А между тем, даже такие творческие, казалось бы, люди как Антонио Грамши, считал, что это совсем не нужно. Что марксизм вполне, так сказать, самодостаточен, что он может развиваться на собственной основе. Это чепуха.

Д.С.: Понятно.

Т.О.: Поэтому даже в демократических странах никто не мешал марксистам свободно развивать науку. Но я не нахожу людей, которые свободно развивали... они тоже придерживались догмы. Более свободной, чем у нас, но опять догматика. Тот же догматик Грамши.

Д.С.: А почему так?

Т.О.: Я думаю, что он внутренне присущ марксизму — догматизм. Это догматизм самого марксизма.

Д.С.: Поэтому он и был близок нашим коммунистам.

Т.О.: Да. Поэтому надо было начать с пересмотра самого марксизма. То есть с выделения того, что в нем вошло в науку и принято людьми далекими от марксизма. Скажем, франкфуртская школа социальных исследований. Они многое взяли у Маркса, но и многое отвергли. Так же Макс Вебер тоже кое-что взял у Маркса и многое отверг. Вот это я понимаю, это научный подход к марксизму.

Д.С.: А возможен ли такой научный подход сейчас и в будущем?

Т.О.: Он, фактически, уже осуществляется. Сейчас людей, которые бы были марксистами в точном смысле слова, по-моему, не осталось, а если и осталось, то это не творческие люди. Я помню, обсуждали вопросы философии, собрали большой коллектив, обсуждали мою книгу «Марксизм и утопизм». И выступил профессор Семенов с обвинением, что я отступаю от марксизма. Но таких людей сейчас уже не осталось.

Д.С.: Понятно. А вот еще такой вопрос, Теодор Ильич. Какие бы вы выделили периодические или продолжающиеся издания, в которых наиболее интересные шли материалы, может быть в какой-то определенный период времени? Вот сейчас такой Архангельский сделал сериал «Отдел», про ИМРД. Там про ИМРД рассказано достаточно ярко и интересно, что была такая «складочка» мироздания, где существовали люди, которые могли делать то, что считали нужным. На ваш взгляд, институционально или, может быть, в рамках каких-то редакций, коллективов, где было ярко, интересно, где происходило брожение умов?

Т.О.: Ну, брожение, конечно, не ахти какое сильное, небольшое, было именно в рамках «Вопросов

философии». Были и другие, и сейчас есть в Институте философии, издается журнал философии, издается журнал «Философия науки». То есть, люди стали мыслить совершенно свободно, есть люди, которые пишут, что они убежденные кантианцы, никто к ним не придирается.



За рабочим столом

Д.С.: Я имею в виду не сейчас, а раньше.

Т.О.: Раньше люди говорили, что они марксисты, но уже высказывали взгляды совершенно несовместимые, скажем, с догмой.

Д.С.: А на ваш взгляд, вообще возможны ли были политические науки, развитие политических наук в советское время, как дисциплин?

Т.О.: Понимаете, в советское время, покамест была духовная диктатура, ни о какой настоящей политологии говорить нельзя было. Была только одна политика, один взгляд. В отношении политики было очень строго, в отношении философии — тут допускалась еще всякая отсебятина.

Д.С.: Вольность.

Т.О.: Да, но если не касаться политики.

Д.С.: А вот, собственно, такая система с единым мышлением, с единым подходом, это сталинская все-таки «заслуга»?

Т.О.: Да нет, и ленинская тоже. В какой-то мере это даже и у Маркса, и у Энгельса было. Дело в том, что Маркс и Энгельс тоже наплевательски относились ко всем другим учениям.

Д.С.: Безусловно, конечно.

Т.О.: Единственно, кого они более-менее позитивно оценивали — это предшественников. Экономистов в особенности, но еще историков и так далее. Всяких философов, немецкую классику. А всё последующее для них не существовало. Причем Энгельс высказывается обо всем последующем развитии, что это жалкие попытки, жалкие попытки. И неогегельянство, и неокантианство, и все другое. Энгельса это не интересовало.

Д.С.: А почему это привилось, на ваш взгляд?

Т.О.: Я вам сказал, что марксизм внутренне догматичен.

Д.С.: Нет, у нас, в России. Если говорить, что это воля Ленина или Сталина...

Т.О.: В России в советское время догма господствовала, что же удивляться?

Д.С.: Да, но все-таки как она стала возможна? Если бы этой догме противопоставлялась антитеза какая-то, что-то противоположное, может быть она и не стала бы такой тоталитарной? Возможно это?

Т.О.: Понимаете, к сожалению, эта догма была не просто позицией ученых. Руководители партии и правительства занимались философией, но, тем не менее, они в каких-то границах стояли. Вообще, советское время — это тоталитарный режим. Мы должны, так сказать, представить, что такое тоталитарный режим.

Д.С.: И философии, наверно, тяжелее всего в тоталитарном режиме?

Т.О.: Я считаю, что общественные науки с тоталитарным режимом несовместимы. Конечно, ядерная физика может вполне развиваться, поскольку тут им предоставляют все условия и возможности.

Д.С.: Больше того, ей даже лучше развиваться, в каком-то смысле.

Т.О.: Да. Правда, надо сказать, что после войны, когда мы вернулись из армии, мы с удивлением узнали, что зарплата преподавателя в ВУЗах стала очень высокой. Я стал доцентом и сразу получал 2800 рублей. А моя сестра, старший инженер на авиационном заводе, получала 150 или 170 рублей.

Д.С.: Такая разница?

Т.О.: Такая разница. А почему? Оказывается, у нас тогда еще не было ядерной бомбы и не было атомной бомбы. И поэтому Сталин поднял всю науку, чтобы она готовила атомную бомбу.

Д.С.: В том числе у гуманитариев?

Т.О.: Нет, он не делал разницы. Всем наукам. Всем сестрам по серьгам. Вот такие были высокие оклады.

Д.С.: Фантастические, конечно. А кого бы вы выделили из преподавателей в Московском университете довоенном? Когда вы учились. Кто на вас произвел наибольшее впечатление и влияние?

Т.О.: Асмус, конечно. Быховский, правда, его уволили от нас. Сапожников такой был, его арестовали. Вы знаете, а больше профессоров нет. Нет, Ахманов, на кафедре логики был. Попов Павел Сергеевич. На кафедре диалектического материализма ярких фигур не было, был там Георгиев, но это не яркая фигура.

Д.С.: А на другие факультеты вы ходили на лекции какие-то?

Т.О.: На других факультетах было лучше, конечно. На филологическом было много интересных людей. На историческом, мне кажется, тоже, но я меньше... На филологическом я читал какой-то общий курс истории философии и сталкивался с этими людьми. Были интересные люди. А в общем, конечно... Да и сейчас на философском факультете кто там, какие яркие фигуры есть?

Д.С.: Не знаю, я историк, поэтому мне сложно сказать.

Т.О.: Я прикидываю, несколько человек могу назвать, три-четыре человека, не больше. В общем,

к сожалению, ярких людей не так много, это вопросы таланта.

Д.С.: И того урона, человеческого даже, просто в физическом плане, которая понесла гуманитарная мысль, в том числе философия, в XX веке.

Т.О.: Конечно, да.

Д.С.: А как обсуждались и как относились на философском факультете, и в университете в целом, конечно, к процессам 30-х годов? Говорили ли про них вообще или старались не говорить?

Т.О.: Понимаете, откровенных разговоров я не слышал, а про себя каждый думал. Я думал: «Не понимаю, не понимаю, не могу понять, что это такое». Но больше ничего. Думать, что это ложь, что это инспирировано — нет, до этого я не доходил. Но вместе с тем считал, что дело нечистое какое-то.

Д.С.: А когда был процесс так называемых русских фашистов, когда всех переводчиков с немецкого и немцев арестовали?

Т.О.: Этого я не помню.

Д.С.: 30-й или 31-й первый год.

Т.О.: Это выпало из моей памяти. Я помню другое....

Д.С.: Когда, собственно, тех, кто готовил издание Гёте, кто работал в Большой советской энциклопедии в немецкой редакции, арестовали их всех.

Т.О.: Это я не помню. Я помню, были эсперантисты, их всех арестовали, кое-кого расстреляли. А это были не «лишние» люди. Пока Сталин был тут, это был не просто тоталитаризм. Это был вурдалак, который создавал соответствующую атмосферу.

Д.С.: Но тогда-то вы также воспринимали или нет — сталинское время?

Т.О.: Может быть, не в полной мере, но мы вполне понимали, что людей арестовывают ни за что. Арестовывают наших товарищей. У нас на факультете профессоров арестовывали одного за другим, деканов и так далее. Мы понимали, что все-таки это нечистое дело. К тому же, мы понимали также, что достаточно обычного наговора, понимаете. Был такой редакционно-издательский институт когда-то, и у него было общежитие. Там жили два студента, в комнате какой-то. Потом этот институт ликвидировали, общежитие осталось. И один из этих студентов написал заявление в ГПУ о другом, того другого посадили, этот оставил себе комнату. Вот того, кого посадили, он учился у нас, и я потом узнал, почему его посадили. На него написал его товарищ по комнате, этого было достаточно. Я допускаю, конечно, что этот товарищ написал, а ему там сказали: «Давайте вы куда-нибудь сходите с ним, мы посадим человека и послушаем». Возможно, что они какую-то проверку проводили. Но достаточно было дать сигнал.

Д.С.: А к вам применительно, над вами тучи сгущались?

Т.О.: Вот когда Бродова посадили, когда меня из комсомола исключили, да. Но это продолжалось месяца два. В общем, понимаете, я, вероятно, вполне учуял обстановку и понял необходимость молчать, молчать, молчать, и всё. Я думаю, что так большинство вело себя.

Д.С.: Безусловно, конечно.

Т.О.: Это было страшное время, что тут говорить. Более страшное, чем война.

Д.С.: Война, да — это подъем все-таки. Теодор Ильич, а не было такой мысли уехать, убежать, скрыться как-то?

Т.О.: В те времена это было невозможно. Потом появилась такая возможность. В те времена были какие-то партийные начальники, которые получали заграничную командировку и оставались за рубежом. Было несколько таких людей, некоторые из них писали книги потом. Был один из секретарей Сталина, по-

моему...

Д.С.: Даже Сталина?

Т.О.: Да, который оказался за рубежом и написал книгу. Забыл его фамилию. А так, вообще-то, ведь сам выезд за границу стал возможным уже после смерти Сталина, я имею в виду научный выезд. Я впервые поехал за рубеж в 57-м году.

Д.С.: Это куда?

Т.О.: В Германию, просто пригласили меня на месяц.

Д.С.: В ФРГ или ГДР?

Т.О.: В ГДР. Все равно, через год я поехал в ФРГ. После смерти Сталина, может быть, для некоторых людей сохранялась какая-то позиция, мало ли по каким причинам, я не знаю. Но насколько я знаю, на философском факультете большинство людей такую возможность... на моей кафедре люди ездили не как я, на месяц, а на год ездили.

Д.С.: Это в 60-е уже, да?

Т.О.: Это конец 50-х — 60-е годы. Был такой у меня Кузнецов, он во Францию поехал на год, Мельвиль поехал в Англию на год. Другие ездили на короткие сроки, я ездил максимум на два месяца. Много изменилось.

Война

Д.С.: Да, конечно. Я смотрел и сейчас забыл — про войну. Вы ведь призваны были в армию?

Т.О.: Конечно.

Д.С.: А когда?

Т.О.: 8 июля 41-го года я был призван. Первое время я вообще не был на фронте, я был в противовоздушных войсках в прифронтовой полосе. А потом попал в обычную дивизию, сначала инструктором политотдела дивизии, а в конце войны был уже инструктором политотдела армии, 6-й армии. Воевали в самой Германии.

Д.С.: Война для вас закончилась где?

Т.О.: Она закончилась в городе Бреслау. Бреслау — это центр Силезии, он отошел к Польше. Вроцлав называется. Это колоссальный город, девятьсот тысяч населения, и нашей армии было приказано окружить Бреслау со всеми войсками и взять его. Мы взяли его только 7-го мая, потому что там находилось сорок тысяч немцев в войсках, а в нашей армии в это время, в 6-й, едва ли активных бойцов было больше десяти тысяч. Она уже отошала все-таки. Правда, помогали всякие подсобные части: 16-я воздушная армия бомбила, были приданы танковые части, но все-таки мы не смогли взять город, он просто капитулировал 7-го мая. И на этом кончилась моя война. Правда, меня еще отправили в Вену, как знающего немецкий язык, там была центральная группа войск. Там, в основном, работа с мирным населением у нас была. Фактически это были оккупационные войска.

Д.С.: Понятно. Скажите, а знание немецкого языка во время войны — это же такое стратегическое преимущество. Слушали ли вы немецкое радио?

Т.О.: Нет, мне почти не приходилось. Вот допрашивать пленных приходилось, когда в дивизии работал. Попадали пленные, меня просили. А радио слушать, не помню даже. Нет, помню, в конце войны уже у нас были радиоприемники, мы систематически их слушали в конце войны. О том, что война кончилась, мы по радио узнали сначала. Потому что на Западе она раньше кончилась.

Помню, что я был где-то в Бреслау, который уже капитулировал 7-го мая, и там же по радио узнал, что война кончилась, только не у нас, а у них на Западе. И я добрался из Бреслау в деревню, где находился политотдел армии, деревня называлась Дойч-Лисса. Зашел к заместителю начальника политотдела, такой был малосимпатичный человек, но тут я к нему с объятиями подошел: «Война кончилась!» Он говорит: «А я-то думал, что такое?! Ты слышишь, кругом стреляют?» Я говорю: «Вижу, что стреляют, просто солдаты стреляют в воздух!» Новость распространилась молниеносно. Что ж, закончим?

Д.С.: Да, спасибо большое, Теодор Ильич. Может быть, если возникнут у меня какие-то вопросы, дополнения, можно к вам обратиться?

Т.О.: Ладно. Договорились.

Текст авторизован Т.И. Ойзерманом